

REVIEWS

Árpád Kovács, *Персональное повествование. Пушкин, Гоголь, Достоевский*, изд. Peter Lang, (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausgegeben von Wolf Schmid, 7), Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1994, 232 стр.

В ценной серии научных работ по славянским литературам международного издательства Петер Ланг (под редакцией Вольфа Шмида) вышла книга венгерского литературоведа Арпада Ковача, которая вводит новые признаки в понятие „персональное повествование” в некоторых особых повествовательных формах (IchErzählung, смежные эпические жанры, „лирические стихотворения с маркированной сюжетностью и авторефлексией”, стр. 217). Впервые, хотя и не вполне определённо, автор, в своём анализе *Записок из подполья* Ф.М. Достоевского, ввёл понятие „персональное повествование”, когда субъект-повествователь „записок” был определён как „образ творческого отношения личности как к своей биографии, так и к биографии общества” (Kovács Á., *Роман Достоевского. Опыт поэтики жанра*, Budapest 1985, стр. 344). Понятие „творческого отношения к миру” предполагает, с одной стороны, „создание индивидуального и автономного дискурсивного подхода к миру” (стр. 27), т.е. научное осознание проблемы процессов текстопорождения, а с другой – вопрос о „становлении субъектом” (стр. 23), т.е. вопрос об этическом отношении к действительности.

Со всей своей очевидностью вопрос, выдвинутый автором, встаёт в первой главе (*Текст и мир „Записок сумасшедшего”*): в анализе гоголевских *Записок* автор подчёркивает, что на „записки” (как и на *Записки* Достоевского) следует смотреть не только как на повествовательную форму, но и как на особый „жанр самопознания” (стр. 13). Такой подход к художественному произведению требует новой методологической разработки текста: не только анализа отношений между моделирующим субъектом (автором, повествователем) и моделируемым объектом (действительностью), но и между моделирующим субъектом и произведённым текстом, который в свою очередь приобретает статус моделируемого и моделированного объекта, отличного от первичного моделируемого объекта (внешнего предметного мира). Значит текст порождается не только на основе сюжета (на словесном изображении „фактов” внешнего мира), но и сам факт „записывания записок” определяет „поименование” мира, т.е. текстопорождение.

Если анализ гоголевских „записок” указывает на процесс текстопорождения на основе ретимологизации преимущественно „словарного” словесного состава, рассматриваемого как „выше”, так и „ниже” лексемы (стр. 218), и только частично затрагивает вопрос субъективизации чужих текстов, то нельзя сказать того же о текстах более сложных, в которых текстопорождение подчиняется интериоризации „междужанровых связей” (стр. 59). Примером может служить поэма о *Великом Инквизиторе*, которой автор посвящает вторую главу книги (*Персонализация повествовательных форм и мотивов*). Не отказываясь полностью от первого уровня анализа, Ковач рассматривает поэму Ивана с точки зрения того, как Достоевский рассказывает, как рассказывает Иван легенду о Великом Инквизиторе, который, становясь рассказчиком-героем, персонализирует исходный текст, т.е. притчу об *Искушении в пустыне*. Иван является не простым „слушателем”, повторяющим чужой текст (притчу и её „персонализацию”), а настоящим воспроизводителем собственного текста, использующим, понимающим и смыслообразующим „чужой текст”. Таким образом, процесс становления субъектом реализуется как эстетическая способность человека поименовать мир *своим* словом. Употребляя категории сугубо культурологические, можно сказать, что в персональном повествовании семиосфера постоянно превращается в ноосферу, которая в свою очередь порождает новую семиосферу.

Последняя глава книги (*Проблема смежных форм*) посвящена вопросу о персональном повествовании как о соотношении рассказа с морфологией и дискурсивностью стиха (стр. 163). В лирической модели стихотворения А.С. Пушкина *Пророк* процесс текстопорождения детерминирован как внутритекстовыми, так и межтекстовыми повторами (по отношению к ветхозаветному *Призванию Исаии*): этический вопрос становления субъектом, как ранее у Гоголя и Достоевского, осуществляется здесь „сдвигом от темы пророчества для народа к теме регенерации творческих сил индивида”, т.е. творческой личности (стр. 189). И, наконец, весьма плодотворен анализ, которому автор подвергает пушкинскую поэму *Цыганы*: двойной упорядоченностью контрарных начал (наррации и стиха) в лиро-эпической модели Пушкин „тематизирует” жанровую форму античной и предромантической ламентативной элегии.

Богатство и разнообразность предложенного автором анализа ставит по меньшей мере два невторостепенных вопроса для дальнейшей исследовательской работы как в области истории и теории литературы, так и на почве культурологии: 1. если механизмы текстопорождения в *прозаических* произведениях не подвергаются лишь (или по преимуществу) референциальным

ценностям языка (что вообще характерно для *поэзии*), то следует поставить вопрос об эволюционных моделях т.н. смешанных жанров (напр. стихотворений в прозе), которые можно было бы таким образом отнести не только к „стихотворной” контаминации прозаического начала, но и к естественному продукту „чистой” прозаической традиции (на что указывали уже Тынянов и Томашевский, определяя ритмическую прозу как явление сугубо прозаическое); с точки зрения истории литературы анализ отношения плана выражения к плану содержания (и наоборот) ещё впереди; 2. если основным признаком „становления субъектом” является способность активного (само)произведения текста и рост субъективности равен росту дискурсивной упорядоченности языкового поведения, то и прославленную „миссию” русского писателя, которую мы привыкли относить к древне-русской традиции (в которой как раз и отсутствует само понятие „субъект”), следует рассматривать как попытку достижения полного самосознания индивида эстетическими средствами (реализуя, впрочем, и утверждение Достоевского: „Красота спасёт мир!”). Таким образом, не исключается и возможность типологического определения очередного русского культурного „гибрида”, способного соединить типичную черту западной традиции (становление субъектом) со средствами подлинной национальной традиции (что является преимущественной ролью эстетики).

Ivan Verč

Miha Javornik, *Evangelij Bulgakova. O ustvarjalnosti Mihaila Afanasjeviča Bulgakova*, изд. Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, (Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana 1994, 228 стр.

Книга молодого словенского исследователя Михи Яворника рассматривает творчество М. Булгакова с точки зрения микро- и макротекстуальных категорий, которые, в сопоставлении, образуют константы поэтического мира писателя.

В первой главе (*Od avtobiografsko-dnevniške faze k prvi sintezi*) автор анализирует ранние произведения Булгакова (*Записки юного врача, Дьяволиада*), сосредоточивая своё внимание на образе литературного *героя-врача* в его переходной фазе трансформации в новый образ *героя-писателя*. Некоторые мотивы с положительной семантической нагрузкой из этой первой фазы (*лампа, печка*) встречаются впоследствии и в других литературных произведениях Булгакова. В *Белой гвардии*, которой посвящена вторая глава книги (*Analiza romana Bela*

Slavica tergestina 3 (1995)